

*Александр Мелихов*

НА  
ВАСИЛЬЕВСКИЙ  
ОСТРОВ...



ЛИМБУС ПРЕСС  
Санкт-Петербург

## МЕЖДУ ВЫЦВЕТШИХ ЛИНИЙ

Лапин так и остался рассчитанно скучающим брехуном с веселой бесноватинкой в черных глазах и яростной запятой эспаньолки: Коноплянников завязался с англичанами, фунты сыплются пудами, требуются крутые, вроде меня, а ему, Лапину, не разорваться же – одной задницей на два очка не сядешь, – и ринулся в трамвай с исполинской сумкой в фарватере. Но палец, поманивший из канувшего, все же взболтнул во мне давным-давно осевшую муть, которую психиатры именуют бредом значения (посещающим меня сегодня лишь под очень сильной балдой): всё, как в юности, снова сделалось захватывающим и словно бы усиленно подмигивающим на что-то. Правда, у метро тогда не раздавали листовки «Собаководство – это судьба» и «Встреча с духовным учителем» – борода, тяжелый недоверчивый взгляд. Напоследок сунули еще что-то православное – крест весь в перекладинках. Зато озабоченный Кутузов по-прежнему утопал в банных складках перед величественным порталом Казанской колоннады («архитектор Ворончихин», как наставлял меня в ту пору один интеллигент), обрывающейся в гранитную Канаву, куда немедленно вплыла из Леты исполинская, с пяточками

в исчезнувший ныне латунный пятак вялая пиявка, на которую я, ошалевший от прикосновенности к великому пацан, тарасился тоже не без благоговения.

В стеклянной банке на родительском комоде пиявки клубились черные, мускулистые, обоюдоострые, сдержанно-страстные – мама сразу объявила, что лучше выбросится с балкона, чем позволит этой нечисти к себе прийтронуться. Я пытался ее приучать, обклеивал пиявками предплечье, но моя змеящаяся черными язычками рука внушала ей лишь еще более крошечный ужас. Под пяточками начинало чесаться, я поддевал их иголкой, обкладывал то мокрой солью (кнут), то сахаром (пряник), а мамин тромбофлебит тоже продолжал свое дело. И вот каким ударом он наконец откликнулся...

Пот, пот – за этой недвижимой жарой явно ощущалась чья-то издевательская воля, – я так и не возвысился до верховной научной мудрости: естественно все, что есть.

А медный Кунктатор, пересидевший Наполеона, и нас не моргнувши глазом перестоял: его два раза покрасили, а нам уж и на погост пора – хватит, погостили. Когда я вспоминаю, что мне уже пятьдесят, я съеживаюсь в зачуханного шлемазла, неудачника, ибо в моем нынешнем мире не существует свершений, достойных этой цифры. Я начинаю перечислять себе, что я доктор, профессор, главный теоретик лакотряпочной отрасли (юбилейная телеграмма пришла за подписью министра: «расцвете творческих сил», «так *дрезать*»), но мне все равно становится стыдно проявлять какую-то оживленность, любезничать с женщинами – быть разбитым дребезжащим старцем все-таки было бы не так совестно. А я, как нарочно, большой бодрячок, меня страшно изматывает узда мрачноватой невозмутимости.

А, это здесь раскидывалось уличное кафе, где я заказал шесть бутербродов с ветчиной – высчитал, что так выйдет самая дешевая удельная калория, официантка думала, что шучу, – после освоения очередного квадрата божественного ЛЕНИНГРАДА (три часа вдоль какой-то бетонной стены). А вот в этой тысячу раз с тех пор пересошей и возобновленной луже сидел, забравшись по шейку, рехнувшийся голубь, а через одноразовую оградку кафе перебирался морячок с лицом, казавшимся ему игривым, но оказавшимся идиотическим: две очень городские девушки сдержанно прыснули, пробуждая во мне бездонное сострадание к бедняге. А за этим строительным забором укрылись подвалы ресторана «Кавказский», коий, если удавалось разжиться лишней десяткой, мы посещали, отстояв часовую возбужденную очередь, вкусить пижонского шика в восточном вкусе.

Что за мускулистые подушечки лаваша там подавали – даже распаханные по карманам, они и назавтра не осыпались и пружинили на зубах. Купаты змеями обвивали сталь шампуров, словно эскулапов посох, две-три реплики с соседями по столикам, вспрыснутые двумя-тремя бокалами гурджаани и саперави, мгновенно распускались роскошными мужскими дружбами. В этом вальсирующем движении из зальчика в зальчик Славка сквозь пронзительное зудение зурны прокричал что-то радостное симпатичному крючконосому мужику, интимно склонившемуся к своему лишенному внешности верному другу, мужик тоже прокричал что-то дружелюбное – ну и мне, естественно, захотелось направить на него одну из струй распиравшей меня любви к миру. Короче, я мимоходом бросил ему какую-то дружескую шутку, и он ответил мне

еще более задушевно: слушай, отъ...сь от меня к такой-то матери. Я расхохотался, словно услышал что-то очень забавное, и, единым взмахом стерши услышанное из памяти, поспешил за Славкой. Проглотить оскорбление – сегодня, когда я считаю делом чести не самоудовлетворяться, а думать о результате, оскорбить меня практически невозможно. А вот заглушить голос правды ради сохранения приятной картины мира – теперь для меня едва ли не тячайшее преступление.

Адмиралтейская игла поблескивала сквозь прозрачное одеяние строительных лесов. К Коноплянникову было еще рановато, и я присел в Сашкином садике рядом с типичной старой ленинградкой. Фирма IBM готовила для Интернета седьмое поколение компьютеров – эта газетная сенсация поглощала старушку с головой. Напротив, через аллею, багровый провинциал глотал из горлышка пиво, пополняя бегущие с него потоки пота. Когда он поставил пустую бутылку на землю и взялся за следующую, старушка не без грации просеменила к нему, с полупоклоном подхватила бутылку (в кошелке звякнуло) и вновь погрузилась в Интернет. Подошла другая типичная ленинградка, тоже в детской панамке: да, с пятьдесят второго, нет – пятого года такой жары не было, что вы хотите – теперь же никто ни за что не отвечает, но, Алевтина Николаевна, куда же вы, простите, смотрите, вы видите, что он делает, – взял и пошел! Нет, но какие пошли бесцеремонные невоспитанные люди, раньше такое представить было немислимо – чтобы ни у кого не спрашивая... смотрите, смотрите, еще одну схватил, еще!..

Бомжистый мужичонка с котомкой через плечо бодро, как грибок, перебежал от скамейки к скамейке, вре-

мя от времени подхватывая пустые бутылки, заглядывая в урны, словно в собственный почтовый ящик. Я не почувствовал ни сожаления, ни печали – что ж, значит, такая теперь пошла жизнь. А эти бедняжки всё имитируют жеманством интеллигентность, и пафос этого спектакля неизменный: только воспитанные люди имеют право следовать собственным интересам. Фальшь, презрение к истине – единственное, что сегодня может меня задеть: лишь этот чекан эдемской юности с каждым годом врезается все глубже и глубже. Даже эти дурацкие листовки я не в силах скомкать, не проглядев. А уж в доводы врага следует вдумываться куда тщательнее, чем в доводы друга. Когда-то я считал науку органом познания. Но теперь я вижу в ней орган честности. Она обязана фиксировать каждый голос сомнения, особенно неприятного, она никогда не смеет сказать: «Я знаю», только «Я предполагаю». Поэтому она всегда перед всеми виновата – виновата, что недослушала болтуна, отмахнулась от стотысячной лжи мошенника, бред сумасшедшего сочла бредом, а не альтернативной гипотезой, невежду отстранила от слушаний, покуда он не сдаст за восьмой класс... В мире, где каждый вооружен зубами железной уверенности, остаться при голом сомнении – скорее алгебраист Миша Элиасберг в свитерке тридцать восьмого размера и очках минус тридцать восемь выстоит в пресс-хате среди рецидивистов с заточками. Да вот хотя бы припирает к стене взглядом с листовки бородатей самого Карла Маркса духовный учитель, врач, ученый, писатель Сергей Федорович Петров, замалчиваемый официальной наукой за то, что исцеляет все болезни и насыщает космической энергией. Против этих бородатых пророков, без страха и сомненья пускающихся на самое

недопустимое – апелляцию к толпе, хоть чуточку действительны только другие запрещенные же приемы – апелляция к чинам, званиям, авторитетам, к «давно известному» и «точно установленному»: эти волки заставят-таки всех выть по-ихнему...

Но я не позволяю себе возмущаться, что осенью идет дождь. Вот только с этой идиотской жарой, разъедающей неиссякающим потом все самое сокровенное, я никак не могу примириться – не могу поверить, что и у нее есть какая-то неустрашимая причина.

Произнести слово, не измусолив трех монографий, кого-то не дослушать, чего-то не дочитать – все это вызывает у меня чувство совершенной гадости. Но общаясь с людьми, свободными от пут добросовестности, не совершать подобные гадости невозможно – поэтому я стараюсь избегать людей. Господа, обожающие настаивать на своем, гордящиеся независимостью своих мнений, для меня гораздо отвратительней удивительных личностей, обожающих красть у друзей и гадить на видном месте. Вступая в спор, большинство людей стараются не узнать что-то, а защититься от знания – даже не услышать: перекричать, обругать, заткнуть глот...

Стоп, не заводись, не позорься – таков мир. Чем расчесывать болячки, достойнее будет хотя бы поинтересоваться проблемами собачников. «В последнее время обострилась политическая борьба в высших сферах собаководства... Простые собаководы в растерянности... Утрачен контроль за вязкой... Плоды племенной работы многих поколений...» Все везде рассыпается в пыль, когда каждый становится сам себе высшим судьей. Личность начали защищать прежде, чем она доказала, что стоит

защиты: гуманисты, дабы не отвлекать энергию от освещения частных квартир, принялись разрушать электростанции. Все должно служить человеку, и только он ничему не должен служить, и он это быстро просекает: любое усилие ради другого превращается в непосильную обузу. Казалось бы, уж какой кайф – любовь! Но – риск неудачи, столько хлопот, чтобы завоевать, а с победой новая ответственность: кормить, защищать... Нет уж, спокойнее оставить от любви голый секс. Но ведь и там нужно хоть на полчаса ублажить и другого – лучше уж перейти на мастурбацию. А самые передовые уже дотумкали, что и мастурбация все-таки труд, а значит, обуза: еще проще вколоться – и иметь полный кайф сразу и без хлопот.

Спокойно, спокойно – нужно только увериться, что мастурбационные тенденции нашей культуры (М-культуры) неотвратимы, как смерть, и тогда я немедленно заставляю себя смириться: самоуспокойтесь на здоровье, если уж дело вас больше не цепляет. Эта мегатонная сосулица нарастала веками: скажи древнему греку, римлянину, галлу, арабу, что он обязан служить не семье, не роду, не Богу, не государству, а себе лишь самому... В былые времена боевые песни слагали и горланили не для того, чтобы раздухариться и разойтись: их пели, чтобы воевать, – ни о каком искусстве для искусства никто не мог и помыслить, все гимны и хороводы чему-нибудь, да служили: богам, плодородию, свадьбам, похоронам... Но вот культура объявила себя своей собственной целью, ценности деяния были пережеваны и выплюнуты ценностями переживания – так истощившийся распутник, уже не способный на страсть к реальной женщине, начинает задрочиваться до смерти: долгий дрейф от эпоса к лирике сегодня завершается



стремительным спуртом от индивидуализма к героину. Солипсизм как высшая стадия эгоизма: от «Существенны только мои интересы» к «Существую только я». Уход во внутренний мир – это же так поэтично, ведь такие несметные сокровища нас там поджидают: кишки, бредни, радости блаженного дебила... Алкаш, торчок, шизофреник – окончательное торжество духа над материей, мира внутреннего над вульгарным внешним. Что общего у наркомана с романтическим лириком? И тот и другой считают высшей ценностью переживания, а не презренную пользу.

Прекрати же наконец мастурбировать и сам – растравлять ссадины, когда не в силах ничего изменить. Дух терпимости (наплевательства) первыми удушает тех, кто имеет глупость дорожить чем-то еще, кроме собственной шкуры – «индивидуальности». Да вот вам, пожалуйста, – уже и Православная церковь у метро обличает какую-то кощунственную секту, возглавляемую евреем Береславским, – ну, это спор славян между собою. И все-таки не могу не дочитать: Береславскому является некая бесформенная масса – рыдающее сердце Богородицы, испускающее жуткий вой, и с бешеной скоростью диктует прямо на машинку... Свобода индивидуального бреда всюду грозит растрепать бред коллективный – единственное, что может всерьез и надолго объединять человеческую массу.

Ошибка – мнение, по недосмотру проскочившее фильтр стандартных проверок, бред – мнение, отказывающееся подчиниться этому фильтру. По этому признаку бред не отличим от веры. Когда подружка из Сангига, снабжая потрескивающим под мышками белым халатом, водила меня на психиатрические лекции, сначала мне казалось, что я сам схожу с ума: я специально взгляды-

вался в оконные рамы, стулья, стены, чтобы убедиться, что в мире еще что-то живет по привычным законам. Изможденный, но невероятно любознательный субъект в полосатой пижаме с детской заинтересованностью разглядывал на полу глазками-буравчиками какую-то невидимую без микроскопа вещьцу, ни на мгновение не прерывая ровного монолога:

– ...Машину без стола курицу не прочитаешь а в кусты собака выглядела хотя трехлапое колесо на учет не становится потому что я седьмой сын Сталина ну а с хлебом-то везде пропустят. – Мимоходом предъявлялась подковка черного из-за пазухи и плавно туда же упрятывалась.

Чтобы очухаться от надрывной исповеди вдохновенно блажившего молодого человека с вырожденческим аристократическим шнобелем, уже достаточно было посмотреть на собственные руки.

– ...В поезде я почувствовал себя знаменитым человеком! Но я тогда не был знаменитым человеком!!

– А сейчас? – поинтересовался кто-то из студентов, будто в деревне над дурачком-подпаском.

– ...Но в общежитии парни не захотели со мной жить! Потому что я занимался онанизмом!!!

– Ну, ну, не будем смущать девушек, – смущался худенький профессор Класовский, шевели, как мышонок, старомодной щеточкой усиков. По его дружелюбной манере было совершенно невозможно понять, что он беседует с ненормальными, – кое-кем из них Класовский как будто даже гордился: «Он часто делает глубокие замечания!» И смущенно извинялся, словно тренер о своем любимце: «Что-то он сегодня не в форме», когда бессильно осевший на кушетке немолодой инженер с совершенно безжизненным,

стекшим книзу лицом (небрежно, с порезами выбритым) на расспросы лишь едва ворочал языком. Но я успел ощутить ту мрачную подземную тягу, которая влачила в нужную ей сторону обрубки его фраз: все темное открывалось ему до последних глубин, а от светлого он отмахивался, как от глупенькой сказочки для несмышленишей. И тогда действительно получалось, что он убил свою мать пьянством и хамством и что обычные люди отличаются от убийц только трусостью и расчетливостью.

Да, среди больных были люди не глупее нас, только на глаза их был словно надвинут светофильтр – одним черным, другим розовым, так что они при полной логике видели в мире или одни только нескончаемые трясины горя, или сплошные фонтаны веселья.

– ...Сидит такой старичок, кофе пьет. Я подошла и высыпала порошок ему в кофе – он как раскричится: хулиганка, хулиганка!.. – Нечасто удается насладиться столь счастливым и самозабвенным хохотом, как у этой крепенькой (боровичок), накрашенной и беспредельно кокетливой бабенки. «Ну, уж вы скажете!» – жеманным жестом, словно ухажера, легонько отталкивала она опечаленного профессора. «Если бы не порошки, вам было бы еще веселее», – сдержанно комментировал Класовский.

Оказывается, ты можешь видеть мир во всех совершенно точных подробностях, но как реагировать на них, смеяться или плакать, – это решает уже какая-то машинка, какая-то решалка внутри тебя, которая и есть твой подлинный хозяин, твой персональный бог, перемалывающий сонмище смутных помыслов и влечений в твердую колбасу поступка. При абсолютно одинаковых данных одному чернейший пессимизм не дает оторвать голову от

подушки, а другой с грандиозными планами пробивается на прием к министру, добивается прослушивания в опере, начиная распеваться уже на улице, к воображаемому наслаждению прохожих, – так решили их личные божества. А логические доводы... На них всегда найдутся контрдоводы. Почему бы в постели и впрямь не оказаться змее: и из зоопарка могла уползти, и сосед из Индии мог прихватить – враги и не на такие ухищрения горазды... Или еще неотразимее: разве автобусы не падают с мостов? Как же можно в них ездить?!

Уровень риска, который наши боги велят нам считать допустимым, его решалка, его бог почему-то счел ужасным. А боги в объяснения не вступают. Я-то думал, все можно доказать, как теорему Пифагора, как закон всемирного тяготения... В конце концов взять голой бухгалтерской добросовестностью: скрупулезно фиксировать все аргументы в пользу каждой версии, ни одной не подсуживая. Но, к изумлению моему, находились несчастные, которых губила именно добросовестность. Поехать автобусом или троллейбусом, простить или порвать, сменить или не менять квартиру – человеческой жизни явно недоставало, чтобы перечислить все за и против. А мир внешний в отличие от мира внутреннего не позволял довольствоваться самоуслаждением – он требовал итога, поступка.

Жизнь и добросовестность – непримиримые враги. Где у бога записано, сколько допускается морщинок на покрывале, чтобы считать кровать заправленной? Сколько раз нужно перепроверять, не забыл ли ты выключить газ? Прикажет твоя решалка – и будешь целый день перестилать кровать, возвращаться с полдороги, безостановочно

пробовать, не расстегнута ли ширинка... Абсолютно добросовестный человек абсолютно нежизнеспособен: чтобы себе не подсуживать, он должен подсуживать врагу. А я подсуживаю мраку. Всеобщее мастурбирование утешительными сказочками внушает мне такое отвращение, что из двух равновероятных суждений я стараюсь выбрать более неприятное. Когда Катька (фу, как фальшиво звучит ее навязанное общежитской традицией имя, но «Катя», «жена», «супруга» еще фальшивее), так вот, когда она сетует, что наш сын «выпивает», я прихожу в сосредоточенное бешенство: он пьет, пьет, пьет... Я к вам не лезу со своими мнениями, но и вы увиливайте без меня, я заранее отказываюсь от всех обезболивающих, срываю все припарки с умягчающими снадобьями, я не стану представлять обратно ампутированную ногу и делать вид, что она все еще живая, я честно признаю: мои дети – чужие и неприятные мне люди.

Я готов снисходить ко всем, кроме собственных детей, укоряет меня Катька, и она совершенно права. Они – это я, а снисходить к себе – ради самоуслаждения – слишком уж гадко. Разбил окно мой ребенок – он озорник, разбил чужой – хулиган. Когда рак угнездился в желудке другого – ясное дело, он обречен, если же в моем – ну, это, может, еще и не рак, да не все и от рака умирают, к тому же, скорее всего, существует загробная жизнь – дайте только пошустрее добежать до церкви, которой прежде интересовался не больше, чем прыщиком на ягодице тещиноного прапрадеда. Помню, в одном действующем памятнике храмовой архитектуры я случайно увидел, как немолодую, очень простого вида женщину с помертвевшим лицом, обряженную в новенькое черное платье и сверкающие подламы-

вающиеся черные туфли, под руки подводят к какому-то чану и начинают чем-то поливать. Когда я представил, что это проделывают надо мной, а я, утратив и честь, и юмор, и божий дар всюду требовать доказательств... сколько же нужно пытать человека, чтобы он стал хвататься за такие клоунады!.. Я поспешил прочь, оледенев от ужаса.

Короче говоря, я из чести выделяю над собой то, что с тем оплывшим, как свеча, инженером сотворила болезнь. Болезнь ли? Психическая норма есть легкая дебильность – этим афоризмом я люблю поддразнивать самоуверенных господ, полагающих свои привычки – своего внутреннего божка – верховным божеством всего человечества. И тем не менее реальность непрерывно требует объявлять чью-то экстравагантность безумием ради спасения чьей-то собственности, чьей-то жизни. Сортировщик, на которого будет взвалена обязанность прочерчивать эти границы, всегда окажется преступником в глазах благородных поборников свободы и гуманности: как, навязывать неповторимой личности какие-то внешние нормы!..

Уж какие гимны Свободе исполнял при первом же знакомстве мой тогда еще будущий, а теперь уже бывший зять: никто не вправе запретить человеку пить, употреблять наркотики... Тем более никто не вправе заставлять его пристегивать ремень в машине, ибо каждый вправе рисковать собственной жизнью.

– Угу, – Митя со зловещей вдумчивостью покивал своей круглой физиономией. – А мы вправе бросить его подыхать, когда он сломает себе шею?

Зять понимающе-диагностически переглянулся с невестой (которую ничуть не тревожила возможность ссоры

жениха с братом: все, чего она в жизни страшилась, – это поставить не на самую престижную лошадь).

– Доказывать что-то бесполезно, – за что молодец был мой зятек – никогда не кипятился, просвещая дикарей, – Гедель математически доказал, что ничего доказать невозможно.

– Если невозможно, как же он это доказал? – Митя.

Разрыв между достижениями науки и понимающей способностью профанов становится все более катастрофическим.

Дочь была явно недовольна моей отсталостью. А мне в ней было омерзительно то, что она желанное ставит выше истинного. Машинка, принимающая решение, выгоднее ли прятаться или пора выползть наружу, имеется и у дождевого червя – богом, наверно, можно назвать лишь ту машинку, которая способна выносить обвинительные приговоры тебе самому. Поэтому на дочь я не сердился уже тогда – у нее никогда не было бога. А у сына он был. И даже сейчас есть. Только Дмитрий его предал.

«Дмитрий» звучит в самый раз – взросло и отстраняюще. «Митя» – бывало, не мог отпустить с языка эту сладость, теснило в груди, коленки слабели от нежности, когда я шептал это имя. Помню, в Таврическом саду мы с ним наблюдали, как невероятно нарядный мальчуганчик, примерно Митькин ровесник, в черном жилетике и крахмальных манжетиках (невольно ищешь цилиндрик) прямо на своих черных отглаженных брючках раз за разом скачивался с детской горки.

– Как ему только разрешают?.. – наконец вознегодовал Митя.

- Ты бы тоже, наверно, так хотел? – поддразнил я.
- Нет! – В его взглядишке сверкнула смертельная оскорбленность.

Уж до того был вдумчивый и ответственный барсучок.

Попадавшие на пути замшелые валуны возражений нисколько не меняли течения речи моего юного зятя, но лишь заставляли ее разливаться щедрыми каскадами: жрецы науки не имеют никакого права объявлять кого-то сумасшедшим – может быть, они ему тоже кажутся сумасшедшими... Клянусь, если бы я испытывал к бывшему зятю хоть малейшую неприязнь, я бы с наслаждением в этом признался, но я и впрямь ему сочувствую: я же помню, что он считал себя поэтом... Уж не знаю, сохранил ли он артистические поползновения вроде овальных замшевых заплат на локтях да шейного платка вместо галстука, бедняга: ведь что-то изображать, пыжиться – это почти агония, можно сколько угодно с угрожающим видом держать руку в кармане, но исход дела решит то, что ты оттуда достанешь и сумеешь употребить. Так меня научили в двух моих школах: великий Москва, освещенная фиксами с дальнего дивана – затемненного наблюдательного пункта всех разборок при фойе ДК «Горняк», скупым царственным жестом немедленно подзывал понтаря: «Чего там у тебя в кармане, дровичь, что ли? Сунул руку – доставай! Достал – пори! Дай сюда пику», – кончиками пальцев он перебрасывал заточку за приземистый диван, кряхтя приподымался и, неловко дотянувшись, словно муху смахивая, хлопал дешевку по малиновой щеке свернутой «Правдой», всегда зачем-то торчавшей у него из кармана. Если же и заточки не оказывалось,



он уже не ленился встать и хлестал долго и всесторонне, а затем, словно брезгуя даже ею, выбрасывал уже и самое газету. И впоследствии, когда на занятом ученом докладе кто-нибудь выразительно помалкивал, иронически усмехаясь, мне всегда страшно не хватало Москвы с газетой: «Чего разлыбился? Дрочишь, что ли? На понтах в крутняки промылиться хочешь? Доставай, чего там у тебя?..» Наука тоже беспощадно раздевала до полной микроскопичности самоупоенных мальчиков, которые не могли предъявить ничего, кроме поз, ухмылок и происхождения. Отличнику двух великих школ, мне совестно даже просто повысить голос, прибавить пафосу, а эффектный жест представляется мне совсем уж тошнотворным шулерством: не можешь приколоть – приткнись. И не ловите меня на моей псевдочеховской бородке с асимметричной проседью, напоминающей потек изо рта, – бородка моя не знак внутренней фальши, а честная маскировка: внешности классического интеллигента требует мой чин главного лакотряпочного теоретика.

А бывший мой зятек украшался заплатами для себя – мастурбировал, стало быть, крошка. Но кое-кто до поры до времени клевал. Моя дочурка, например. Тянулась, словно к отпущению грехов, к артистической элите (элита едет – когда-то будет...), провозгласившей, что можно сделаться крупным художником и не будучи крупной личностью. Поскольку бывшие (тоталитарные) критерии – «Ты стоишь столько, сколько стоит твое дело» – совсем уж стирали их в пыль, эти молодцы изо всех сил старались жажужжать и заскучнить все мало-мальски большое как неотесанное, старомодное и громоздкое – нужно было истребить всех мамонтов, чтоб остались одни барсуки.

Хм, что-то образ барсука закружил вокруг меня в двусмысленной близости: в школе, в общаге, отправляясь на танцульки, я примерял перед зеркалом разные обольстительные развороты – и каждый раз готов был трахнуть по отражению кулаком: ну барсук и барсук! Но грохот музыки разом отшибал у меня память: я отплясывал, понтился, сыпал остротами, покатывался со смеху, западал, обольщал – и чувствовал себя несомненным красавцем. И что самое удивительное – другие, мне казалось, тоже ощущают меня блестящим и неотразимым. А потом, забегая в умывалку поплескать в раскаленную рожу холодной водой, я мимоходом вскидывал глаза на зеркало: ну, что ты будешь делать – опять барсук!

Я еще тогда мог бы понять, сколь незначительную роль играет правда в человеческой жизни: красавец – не красавец, сумасшедший – не сумасшедший, сумел создать нужный тебе коллективный бред – значит и прав. А кто ты на самом деле... Да есть ли оно, это «на самом деле», которому я поклонялся в лучшие свои десятилетия? Или вера в истину – тоже коллективный бред? Но если он окончательно развеется, если вместо «он прав» мы начнем говорить «ему так нравится», исчезнет последний импульс для борьбы и сближения мнений – их сменит нагая борьба интересов, что, впрочем, не раз уже и случалось.

В Высокую Перестройку одна моя перепорхнувшая в журналистику аспирантка (она слишком хорошо знала все заранее, чтобы заниматься наукой) среди прочих, гораздо более знатных людей города регулярно приглашала и меня на телепосиделки «Пресс-кафе»... Я называл его «Пресс-хатой», но считал своим долгом не давать волю чувствам (не мастурбировать), а пользоваться хоть такой

возможностью творить добро – сеять семена безверия, которое одно нас только и может удержать над пропастью: пессимисты портят людям настроение – оптимисты ввергают их в катастрофы. Ибо, созидая одно, неизбежно разрушаешь другое, не менее важное; ибо любая достигнутая цель всегда тонет в лавине непредвиденных побочных следствий; ибо всякая политическая формула, на которой можно успокоиться, гибельна; ибо...

Воском самодовольства и мармеладом оптимизма уши не были залиты только у одного бравого историка, знатока всех российских ускорений – с виду гвардейского офицера тех времен, когда благородная шпага еще дружила с вольностью и просвещением. Он был умнее меня, но его забиячивый бог не желал смириться с тем, что правильной политики просто не бывает, а бывает лишь идиотская, везучая и невезучая. Но уже одно то, что на светлых прямых магистралях, проложенных передовой частью человечества, он умел усматривать непредвиденные развилины и подземные ловушки, отбрасывало его в один разряд со мною. «Наши скептики», – представлял нас ведущий так, словно речь шла о забавной причуде.

– А теперь что скажут наши скептики? – Балетное па к нашему столику. – Bravo! Поаплодируем! – И тройной кувырок с микрофоном в руке.

Этот Жорж Бенгальский вовсе не был таким уж слабоумным, а горестно приподнятые брови вкупе с опущенными уголками губ даже придавали ему сходство с трагической маской, но... Он должен был «угождать зрителю» (хотя за пределами ТВ мне так и не удалось отыскать эту жизнерадостную обезьяну). Ну а остальные состязались, кто благороднее, без тени беспокойства, что из их благородства выйдет.

И когда мне говорят: «Какой вы злой!» – мне хочется ответить: да, я перешел в вагон для злых, потому что вы слишком уж туго набились в вагон для прекраснодушных – из-за вас там уже нечем дышать. «Но если все время смотреть в глаза горькой правде, для чего тогда и жить?» Как для чего – назло! Назло этой твари – жизни: а вот я все равно буду жить и делать то, что считаю возможным, раз уж невозможно все остальное. «Но разве таким способом можно достичь счастья?..» Что-о?! Да кто вам сказал, что мы живем для счастья, какая гнида выдумала это подлое слово, из-за которого мир с каждой минутой уходит все глубже под вселенскую помойку предательств, жестокостей и лжей?.. Думать, что человек живет для счастья, все равно что верить, будто он ест для удовольствия, а не для того, чтобы не подохнуть с голоду.

«Так что, все творения человеческого духа – вся поэзия, все идеалы – не более чем мастурбация?» Нет, мастурбация только то, что не ведет к действию.

Хоть меня в тот раз и предупредили, что в «Пресс-кафе» будут прессовать карательного психиатра, выносившего диагнозы диссидентам, я, однако, решил, что Класовский здесь в качестве эксперта. Фигуркой он выглядел уже лет на двенадцать, только щеточка была совсем седая. Жорж Бенгальский, изогнувшись таким чертом, протягивал ему микрофон с такой игривостью, словно где-нибудь на свадьбе предлагал невесте отхлебнуть из своего бокала.

– Уверю вас, даже самая скверная больница все-таки лучше, чем лагерь. – Класовский шевелил серебряными усиками так терпеливо, словно беседовал с самым безнадежным из своих пациентов, но на доньшке его старческих

глаз тщетно старалась спрятаться собачья просительность. Хорошо, что теперь я умею загонять жалость обратно в конуру единым окриком: «Цыц! Это нормально!»

– Bravo! Вы спасли борцов с режимом от лагеря! – Тройной кульбит с двойным вывертом, и снова пикантный бокал у серебряных усиков.

## **КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА**